В. Г. Белинский

Полное собрание сочинений в 13 томах

Том 7

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82
ББК 83
Б43

Белинский В.Г.
Б43 Полное собрание сочинений в 13 томах: Том 7 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 737 с.

ISBN 978-5-518-16224-2

Статьи и рецензии 1843 года («Параша. Рассказ в стихах Т. Л.», «История Малороссии. Н. Маркевича» и др. «Сочинения Александра Пушкина. Статьи I—XI». 1843 — 1846 годы).

ISBN 978-5-518-16224-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

⟨1—20. РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ⟩

1. **Повести и рассказы,** соч. Нестора Кукольника. Том I. Санкт-Петербург. В тип. Бочарова. 1843. В 8-ю долю л. 293 стр.[1]

Мы не раз уже имели случай говорить о занимательности тех повестей г. Кукольника, содержание которых берется им из эпохи Петра Великого, и не раз изъявляли желание, чтобы он издал их отдельно.[2] Наконец, мы дождались выполнения нашего желания; вновь перечли уже несколько раз читанные повести г. Кукольника, и это чтение вновь подарило нас теми же приятными минутами, какими мы насладились при первом чтении; это признак несомненного таланта, если произведения его могут перечитываться по нескольку раз. Какова степень таланта г. Кукольника и достоинства повестей его, мы об этом не будем говорить до времени; скажем только, что талант, каков бы ни был он, всегда явление редкое и драгоценное. Доказательством тому может служить сам г. Кукольник: у него есть повести, которые ему стоили если не бóльших, то тягостнейших приготовительных трудов, и в которых он изображал страны и жизнь, знакомые ему только из книг: в этих повестях видно много труда, много эрудиции, но нет жизни, нет поэзии; если хотите, им можно удивляться, но читать их тяжело, а перечитывать — просто невозможно. Таковы его и романы; таковы его и драмы. Не понимаем, как стает у него терпения и охоты бесплодно истощать на них свое дарование! И между тем большинство публики едва ли не более на стороне тех *труженических* произведений г. Кукольника, чем *талантливых* повестей его, изображающих время Петра Великого. Это понятно: толпа всегда больше расположена удивляться, чем наслаждаться; ее всегда больше поражает tour de force,* чем свободный порыв вдохновения и таланта. Впрочем, это несправедливое предпочтение труженических произведений г. Кукольника перед талантливыми повестями его из эпохи Петра Великого, могло

* напряжение сил (*франц.*).— *Ред.*

происходить и оттого, что последние были разбросаны по журналам и альманахам, и даже по таким журналам, которых никто не знает и не читает; так, например, несколько повестей было напечатано в блаженной памяти «Русском вестнике».[1] Теперь они издаются отдельно и, верно, положат прочное основание истинной и заслуженной известности г. Кукольника как писателя. Повести эти не все равного достоинства, но решительно все не без достоинств. Слабее других те, в которых автор становится на трагический котурн, как, например, «Лихончиха»: характер героини этой повести натянут и не выдержан, но многие подробности повести тем не менее прекрасны. Лучшие (и их большая часть) повести по преимуществу юмористические, какова, например, «Капустин». К числу особенных достоинств повестей г. Кукольника принадлежит то, что при всей простоте и при всем преобладании юмористического элемента они не лишены истинно высоких и умиляющих душу страниц. Из одного этого уже видно, как глубоко постиг автор дух времени, которое взялся изображать; в этом времени два преобладающие начала: сознательный европеизм могучего и гениального преобразователя, стремление которого так часто возвышалось до трагического величия, и комическое понимание этого европеизма со стороны даже даровитых людей между его подданными. Это составляет пафос повестей г. Кукольника, и потому, читая их, вы и смеетесь от души и возвышаетесь душою.

Ожидаем с нетерпением следующих томов.[2] Первый заключает в себе *шесть* повестей: «Лихончиха», «Новый Год», «Благодетельный Андроник», «Капустин», «Сказание о синем и зеленом сукне», «Прокурор». Издание точно такое же, как и «Сказки за сказкою»: так же серенько и так же богато опечатками.

2. **Статейки в стихах.** Без картинок. Т. I Санкт-Петербург. В тип. Жернакова. 1843. В 16-ю д л. 31 стр.[3]

Автор этой микроскопической книжки, названной им *первым томом*, должен быть человек умный: это особенно доказывается тем, что он не выставил на ней своего имени. Стихи его — водевильная болтовня о том, о сем, а больше ни о чем,— болтовня, которая не может не понравиться той многочисленной публике, которая восхищается, в Александринском театре, водевильным остроумием наших доморощенных драматургов. Мы убеждены, что многие найдут очень забавными такие стишки:

Придет охота страстная
За чтение засесть —
На то у нас прекрасная
Литература есть.

Цепями с модой скованный,
Изменчив человек:
Настал *иллюстрированный*
В литературе век.
С тех пор, как шутка с «Нашими»[1]
Пошла и удалась,
Тьма книг с политипажами
В столице развелась.
Увидишь тут Суворова,
(Известный был герой),
Историю которого
Составил Полевой.
Одетого как барина,
Во всей его красе,
Увидишь тут Булгарина,
В бекеше, в картузе.
Различных тут по званию
Увидишь ты гуляк,
И целую компанию
Салопниц и бродяг.
Рисунки чудно слажены,
В них каждый штрих хорош,
Иные и раскрашены:
Ну, нехотя возьмешь!
Изданья тоже славные —
Бумага так бела,—
Но часто презабавные
Выходят тут дела.
Чем книга нашпигована,
Постигнуть нет ума:
В ней всё иллюминовано,
Да в тексте — мрак и тьма!
В рисунках отличаются
Клот, Тимм и *Неттельгорст*,
Все ими восхищаются...
Художественный перст!

Впрочем, есть в книжке места, даже слишком высокие для публики, хлопающей пьесам вроде «Федосьи Сидоровны» и «Еще Руслан и Людмила»,[2] как, например, вот эти:

Я предан сокрушению,
Не пьется мне, друзья:
Мир ближе к разрушению,
К могиле ближе я.

Льдом жизненного холода
Не сковано еще,—
В вас сердце, други, молодо,
Свежо и горячо.
Еще вам свет корыстию
Рассудка не растлил,
И жизни черной кистию
Злой рок не зачернил.
За счастьем безбоязненно
Пока вы мчитесь вдаль,
И гостьей неприязненной
Не ходит к вам печаль.
Увы!.. она пробудится:
Час близок роковой!
И с вами то же сбудется
Что сталося со мной:
В дни возраста цветущего
Я также был готов
Взять грудью у грядущего
И славу и любовь,
Кипел чудесной силою
И рвался всё к тому,
Чего душой остылою
Теперь и не пойму.
В житейских треволнениях
Терпел и стыд и зло
И видел в сновидениях
В венке свое чело.
Любил — и имя чудное
В отчаяньи твердил,—
То было время трудное:
Насилу пережил!
Когда восторг лирический
В себе я пробужу,
Я вам биографический
Портрет свой напишу.
Тогда вы всё узнаете,
Как глуп я прежде был,—
Мечтал, как вы мечтаете,
Душой в эфире жил,
Бежать хотел в Швейцарию,—
И как родитель мой
С эфира в канцелярию
Столкнул меня клюкой.
Как горд преуморительно
Я в новом был кругу,

И как потом почтительно
Стал гнуть себя в дугу.
Как прежде, чем освоился
Со службой, всё краснел,
А после успокоился,
Окреп и потолстел.
Как гнаться стал за деньгами,
Изрядно нажился,
Детьми и деревеньками
И домом завелся...[1]

В этих шуточных стихах целая история жизни многих людей... Жаль, что автор их не наполнил всей книжки своей такими стихами и через то не придал ей другой цели и значения, кроме удовольствия «почтеннейшей» публики, составленной из разного мелкочиновного народа. Впрочем, ведь и этому народу надо же что-нибудь читать, и он будет читать и смеяться, и даже запасется готовыми остротами, чтоб удивлять ими товарищей и пленять своих дам, а книжка, должно быть, очень недорога...

3. **Русский театр в Петербурге.**[2] **Ломоносов, или Жизнь и поэзия.** Драматическая повесть в пяти действиях, в прозе и стихах, соч. Н. А. Полевого. Действие первое: Рыбак; действие второе: Поэт; действие третие: Цепи жизни; действие четвертое: Поэт и люди; действие пятое: Великий человек.

Г-н Полевой и г. Ободовский завладели сценою Александринского театра, вниманием и восторгом его публики. И если нельзя не завидовать лаврам сих достойных драматургов, то нельзя не завидовать и счастию публики Александринского театра: она счастливее и английской публики, которая имела одного только Шекспира, и германской, которая имела одного только Шиллера: она, в лице гг. Полевого и Ободовского, имеет вдруг и Шекспира и Шиллера! Г-н Полевой — это Шекспир публики Александринского театра; г. Ободовский — это ее Шиллер. Первый отличается разнообразием своего гения и глубоким знанием сердца человеческого; второй — избытком лирического чувства, которое так и хлещет у него через край потоком огнедышащей лавы. Там, где у г. Полевого не хватает гения или оказывается недостаток в сердцеведении, он обыкновенно прибегает к балетным сценам и, под звуки жалобно-протяжной музыки, устроивает патетические сцены расставания нежных детей с дражайшими родителями или верного супруга с обожаемою супругою. Там, где у г. Ободовского иссякает на минуту самородный источник бурно-

пламенного чувства, он прибегает к пляске, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патриотической драмы отхватывать в присядку какой-нибудь национальный танец. Обвиняют г. Ободовского в подражании г. Полевому; но ведь и Шиллер подражал Шекспиру! Обвиняют г. Полевого в похищениях у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюма и прочих; но это не только не похищения — даже не заимствования; известно, что Шекспир брал свое, где ни находил его;[1] то же делает и г. Полевой в качестве Шекспира Александринского театра. Г-н Полевой пишет и драмы, и комедии, и водевили; Шекспир писал только драмы и комедии: стало быть, гений г. Полевого еще разнообразнее, чем гений Шекспира. Шиллер писал одни драмы и не писал комедий: г. Ободовский тоже пишет одни драмы и не пишет комедий. Г-н Полевой начал свое драматическое поприще подражанием «Гамлету» Шекспира; г. Ободовский начал свое драматическое поприще переводом «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, г. Полевой начал свое драматическое поприще уже в летах зрелого мужества, а до тех пор, подобно Шекспиру, с успехом упражнялся в разных родах искусства, свойственных незрелой юности, и, подобно Шекспиру, начал свое литературное поприще несколькими лирическими пьесами, о которых, в свое время, известил российскую публику г. Свиньин.[2] Г-н Ободовский, подобно Шиллеру, начал свое драматическое поприще в лета пылкой юности. Нам возразят, может быть, что Шекспир не прибегал к балетным сценам, и Шиллер не заставлял плясать своих героев; так, но ведь нельзя же ни в чем найти совершенного сходства; притом же балетные сцены и пляски можно отнести скорее к усовершенствованию новейшего драматического искусства на сцене Александринского театра, чем к недостаткам его. После Шекспира и Шиллера драматическое искусство должно же было подвинуться вперед,— и оно подвинулось: в драмах г. Полевого — с приличною важностию менуэтной выступки, а в драмах г. Ободовского — с дробною быстротою малороссийского трепака, в чем, сверх того, выразились и степенные лета первого сочинителя, и порывистая юность второго. Что же касается до несходств,— их можно найти и еще несколько. Шекспир начал свое поприще несчастно,— г. Полевой счастливо; Шекспир не обольщался своею славою и смотрел на нее с улыбкою горького британского юмора; г. Полевой вполне умеет ценить пожатые им на сцене Александринского театра лавры. Шиллер был гоним в юности и уважаем в лета мужества,— г. Ободовский был ласкаем и уважаем со дня вступления своего на драматическое поприще, и т. д.

Если бы не усердие и трудолюбие сих достойных драматургов,— русская сцена пала бы совершенно, за неимением

драматической литературы. Теперь она только и держится, что господами Полевым и Ободовским, которых поэтому можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно они действуют так: когда сцена истощится, они пишут новую пьесу, и пьеса эта дается раз пятьдесят сряду, а потом уже совсем не дается. Так недавно тешил г. Ободовский публику Александринского театра своею бесподобною драмою «Русская боярыня XVII столетия»;[1] так недавно тешил г. Полевой публику Александринского театра «Еленою Глинскою», а на прошлой масляница потешал ее «Ломоносовым», который был дан ровно *девятнадцать* раз, и который уже едва ли дан будет когда-нибудь в двадцатый раз. Сама «Северная пчела» (зри 35 №) выразилась об этом так: «Дайте *десять* раз сряду пьесу, и она уже *старая!* Все ее видели, все наслаждались ею, и *занимательность пропала!* А пусть бы играли ту же пьесу два раза в неделю, она была бы свежа в течение года. Вот придет масляница, и к посту пьеса превратится в *Демьянову уху*». Полно, правда ли это? Нам кажется, что для такой пьесы, как «Ломоносов», очень выгодно быть представленной *девятнадцать* раз в продолжение *двадцати* дней, по пословице: *куй железо, пока горячо*. Что изящно, то всегда интересно, и занимательность хорошей пьесы не может пропасть ни с того, ни с сего. «Горе от ума» и «Ревизор» и теперь даются и всегда будут даваться. А «Ломоносов» и К° пошумят, пошумят недели две-три да и умрут скоропостижно, пропадут без вести.

Г-н Ксенофонт Полевой сделал из жизни Ломоносова нечто среднее между повестью и биографиею.[2] Он верно придерживался тех немногих и главных фактов жизни Ломоносова, которые дошли до нашего времени, верно держался духа, разлитого в творениях Ломоносова, и очень искусно заместил пробелы в жизни Ломоносова возможными и вероятными распространениями и вымыслами, которые не противоречат ни известным фактам жизни, ни духу творений Ломоносова. Таким образом, у г. К. Полевого вышла книга, искусно изложенная. Г-н Н. Полевой, соревнующий всем прошедшим успехам, от водевиля Аблесимова, драм Иванова и Ильина, до многочисленных драматических опытов князя Шаховского, поревновал и успеху брата своего г. К. Полевого — и из хорошей книги выкроил плохую драму, в которой, ради драматической шумихи дурного тона и трескучих эффектов, нарушил историческую истину и из характера отца русской учености и литературы сделал жалкую карикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и г. К. Полевой очень хорошо поступил, сделав из нее нечто среднее между биографиею и повестью. Ломоносов был человек с душою поэтическою; мы охотно допускаем в нем и талант поэтический; но кому же не известно, что наука

была преобладающею страстью его, и что заслуги его в области науки несравненно значительнее и выше, чем в области поэзии и красноречия? Г-н Полевой, не раз *печатно* говоривший, что Ломоносов не поэт, сделал в своей драме Ломоносова по преимуществу поэтом и на его поэтическом стремлении основал пафос своей драмы. Как вам покажется это противоречие критика с поэтом (ибо г. Полевой не шутя считает себя поэтом)? Но это противоречие не единственное: г. Полевой, в продолжение почти десятилетнего издания своего «Телеграфа», постоянно и с каким-то ожесточением преследовал драматические труды князя Шаховского, а теперь сам неутомимо подвизается на его поприще, и притом в том же духе, в тех же понятиях об искусстве, только с меньшим талантом, нежели князь Шаховской.[1] И таких противоречий между г. Полевым, как бывшим критиком, и между г. Полевым, как теперешним действователем на поприще изящной словесности, можно найти много. Откуда же происходят эти противоречия, в чем их источник, где их причина? По нашему мнению, эти противоречия суть нечто кажущееся,— в самом же деле их нет. Как критик, г. Полевой не выше г. Полевого, романиста и драматурга. Критика г. Полевого отличалась вкусом, остроумием, здравым смыслом, когда в нее не вмешивались пристрастие и оскорбленное сочинительское самолюбие; но законы изящного, глубокий смысл искусства всегда были и навсегда остались тайною для критики г. Полевого. Вот почему теперь приятнее перечитывать его рецензии, чем его критики, и вот почему в его критиках теперь уже не находят мыслей и даже не могут понять, о чем в них толкуется, и видят в них одни фразы и слова. Кто глубоко понимает сущность искусства, тот благоговейно чтит искусство, и никогда не решится унижать его литературною деятельностию без призвания, без таланта. Но положим, что могут иногда быть подобные нравственные аномалии, и что человек, глубоко понимающий искусство, может иметь иногда слабость чувствовать в себе призвание, которого ему не дано, и видеть в себе талант, которого в нем нет; всё же в его произведениях, как бы ни были они холодны, сухи и скучны, будут видны его понятия об искусстве. Но драмы г. Полевого — живое опровержение того, что он писывал, бывало, о чужих драмах, а критика его — решительное аутодафе для его драм. Нет, поверхностная критика г. Полевого была зерном его теперешних драм и между ею и ими нет большого противоречия. Критик г. Полевой был моложе, следовательно, живее и сильнее нравственно; драматург г. Полевой уже сочинитель, который всё для себя решил и определил, которому нечего больше узнавать, нечему больше учиться: вот и вся разница...

И, однако ж, основать драму жизни Ломоносова на исключительном стремлении к поэзии, понимая Ломоносова совсем не как поэта,— это противоречие уже не эстетике, а разве здравому смыслу. Но что г. Полевой человек умный, в этом никто не сомневается, и мы уверены, что он сам прежде других видел несообразность в основной идее своей «драматической повести». Зачем же допустил он эту несообразность? Очевидно, что здесь увлекла его непреодолимая охота быть драматургом, вопреки призванию и способностям. Как умный человек, он понимал очень хорошо, что нет никакой возможности заинтересовать толпу идеею стремления к науке, и что стремлением к поэзии можно заинтересовать толпу, хотя она и не понимает, что такое поэзия. Конечно, это показывает в сочинителе легкость и неглубокость эстетических, ученых и литературных убеждений. Что̀ за любовь, что̀ за уважение к искусству, если хлопанье, крики и вызовы толпы могут их ослаблять и уничтожать?

Когда идея, взятая в основание произведения, ложна сама в себе, то и при таланте автора произведение не может быть удачно; если же тут дело идет о сочинителе без призвания и способности, то из произведения выходит нелепость. Если эта нелепость исполнена трескучих и грубых эффектов и выставляется на удивление толпы, то она может иметь сильный, хотя и мгновенный успех...

Но мы отдалились от предмета статьи — «драматической повести» г. Полевого: обратимся к ней. Рассказывать ее содержания не будем, потому что это содержание — повторение тех изношенных эффектов и истертых общих мест, из которых уже сто раз клеил г. Полевой свои «драматические представления». Первый акт вертится весь на любви — не Ломоносова, слава богу, а Вавилы к Насте, на которой отец хочет заставить Ломоносова жениться. Любовь — самый ложный мотив в русской драме, когда дело идет о женитьбе. В мужицком быту не бывает французских водевилей. Это ложь! Второй акт опять состоит из любви — Ломоносова к дочери его хозяйки — Христине. Скряга и ростовщик Кляуз дал матери Христины денег взаймы и, зная, что ей нечем заплатить, хочет заставить ее выдать за него дочь свою или пойти в тюрьму. Когда уже старуху тащат в тюрьму, Ломоносов кстати является с деньгами, платит долг, выгоняет Кляуза, признается г-же Энслебен в любви к ее дочери, просит ее руки. Как всё это старо, пошло и приторно! В третьем акте Ломоносов презирает Вольфа, не ходит к нему на лекции, терпит нужду и говорит фразы. Пришедши раз домой, он видит, что жена его спит у колыбели дочери, горестно задумывается, целует дочь, становится на колени, читает молитву, и, разыграв

эту менуэтную сцену, уходит в Россию. Эпизод завербования, в третьем акте, лишен всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякого смысла. В четвертом акте г. Полевой хотел изобразить в лице Ломоносова отношение поэта к людям; людей он действительно представил довольно полными, но в Ломоносове показал не поэта, не ученого, а какого-то брюзгу, который на словах города берет, а на деле малодушен и слабохарактерен, как плаксивый ребенок. В пятом акте г. Полевой показывает нам большой свет: вот это уж совсем напрасно! Его большой свет похож на пирушку подгулявших сочинителей средней руки, которые, под хмельком, мирятся после своих грязных ссор, обнимаются, целуются, называют друг друга «почтеннейшими» и даже пляшут в присядку, подогнув свои мелодраматические колени. Кстати: на вельможеском бале, изображенном чудною кистию г. Полевого, пляшет Тредьяковский под напев глупых стихов своих. Что даже и вельможи старого времени любили иногда потешиться ученым народом, который по большей части был горьким пьяницей и добровольным шутом,—это факт; но чтоб у вельможи на бале мог плясать в присядку Тредьяковский,—это, вероятно, принадлежит к поэтическому вымыслу г. Полевого. Но нападки на г. Полевого некоторых литераторов за Тредьяковского совершенно несправедливы. Мы помним, что за это нападала на г. Лажечникова и «Библиотека для чтения», а в драме г. Полевого характер Тредьяковского есть повторение созданного г. Лажечниковым характера Тредьяковского в «Ледяном доме». Говорят, что Тредьяковский мог писать плохие стихи и всё-таки быть порядочным человеком. Не знаем, так ли это; но вот анекдот о Тредьяковском из записок Пушкина.*

Тредьяковский пришел однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! Меня Александр Петрович так ударил в правую щеку, что она до сих пор у меня болит».— Как же, братец? — отвечал ему Шувалов:— у тебя болит правая щека, а ты держишься за левую?— «Ах, ваше высокопревосходительство, вы имеете резон»— отвечал Тредьяковский и перенес руку на другую сторону. Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского; но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца.

Хорош порядочный человек! Скажут: то было такое время! Однако ж в такое же время Ломоносов писал к Шувалову, хотевшему помирить его с Сумароковым: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже́ у господа моего бога дураком быть не хочу».

---

* «Северные цветы» 1827 г., стр. 112.